

Авдотья Яковлевна Панаева

Семейство Тальниковых



Авдотья Панаева

Семейство Тальниковых

«Public Domain»

1848

Панаева А. Я.

Семейство Тальниковых / А. Я. Панаева — «Public Domain»,
1848

«В комнате, освещенной нагорелой свечой, омывали тело умершей – шестимесячной моей сестры. Ее глаза с тусклым и неподвижным взглядом наводили на меня ужас. В комнате была тишина; ни отец мой, ни мать не плакали; плакала одна кормилица – о золоченом повойнике и шубе, которых лишилась по случаю слишком преждевременной смерти моей сестры: погоди она умирать пять, шесть месяцев, дело кормилицы было бы кончено, и обещанная награда не ушла бы от ее рук...»

Содержание

Глава I	5
Глава II	11
Глава III	15
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Авдотья Панаева

Семейство Тальниковых

Записки, найденные в бумагах покойницы

Глава I

В комнате, освещенной нагорелой свечой, омывали тело умершей – шестимесячной моей сестры. Ее глаза с тусклым и неподвижным взором наводили на меня ужас. В комнате была тишина; ни отец мой, ни мать не плакали; плакала одна кормилица – о золоченом повойнике и шубе, которых лишилась по случаю слишком преждевременной смерти моей сестры: погоди она умирать пять, шесть месяцев, дело кормилицы было бы кончено, и обещанная награда не ушла бы от ее рук.

В первую минуту смерть произвела на меня сильное впечатление, но по совершенному равнодушию окружающих, по отсутствию отца и матери я заключила, что смерть не важная вещь. Периодические ссоры матери с бабушкой казались мне гораздо важнее, по изобильным слезам бабушки и грозным крикам матери, которая требовала отчета: куда девались деньги, выданные на расход, и зачем так скоро вышла провизия?.. Я была всегда на стороне плачущих, потому ли, что сама много плакала, – не знаю; но плачущую бабушку мне было больше жаль, чем сердившуюся мать. За продолжительной ссорой следовало примирение, и новые слезы бабушки, только уже не печальные, а радостные, заключали сцену до следующего месяца, то есть до новой закупки провизии...

Когда я начала помнить себя, мне было около шести лет. В доме у нас жило много родных: две сестры матери, сестра и мать отца. Бабушку мы очень любили, потому что она нас баловала... Маменька мало о нас заботилась, а отец, занятый службой, не обращал ни малейшего внимания на своих детей, число которых аккуратно каждый год увеличивалось. У меня уж было две сестры – Катя и Соня, три брата – Миша, Федя и Ваня... Мы не питали особенной нежности к родителям, которые, с своей стороны, также не очень нас ласкали. Помню один случай: раз маменька уезжала лечиться на целое лето на воды. Наступил день, когда она должна была возвратиться: весь дом ожидал ее, но в тот день она не приехала. Нас уложили спать; но я не могла заснуть: мне очень хотелось видеть маменьку. Когда все ушли из комнаты, я тихонько встала с постели, села у окна и начала смотреть на улицу и прислушиваться к шуму. Но маменька не ехала! Я готова была плакать, сердце у меня сильно билось при малейшем шуме в других комнатах. Наконец весь дом заснул, заснула и я, измученная ожиданием, и мне приснилось, что маменька крепко целует и держит меня на руках: мне стало так весело. Вдруг слышу: маменька приехала! Я сбежала вниз, и первое мое движение было – кинуться к ней. Она, казалось, удивилась моей радости и поцеловала меня. Я заплакала... Меня обступили, начали спрашивать, что со мною, о чем плачу? Я сказала: рада, что вижу маменьку. Все засмеялись, маменька, улыбаясь, взяла меня на руки. Я обхватила ее шею, крепко прижалась к ней и пуще прежнего зарыдала. Она стала уговаривать меня, предлагала гостинцев, но я от них отказалась и продолжала плакать, закрыв лицо руками... Мать решила, что я больна, и, сказав: «Посмотрите, как она дрожит», велела отвести меня в детскую и уложить спать. Я стала проситься опять к ней, но меня не пустили...

Мать нас мало ласкала, мало занималась нами, зато мы мало от нее и терпели; но свирепость, в которую иногда впадал отец, была для нас слишком ощутительна. В минуты своей раздражительности он колотил всех встречных и ломал все, что попадалось ему под руку. И бил ли он детей или свою легавую собаку, выражение лица его было одинаково – желание уто-

лить свою ярость. Он вонзал вилку в спину собаки с таким же злым спокойствием, как и пускал тарелкой в свою жену. Помню, раз мне и трехлетнему брату случилось испытать порыв его бешенства. Была вербная неделя; отец пришел откуда-то домой, спросил завтрак и выпил целый графин водки. В углу той же комнаты играла я с братом в вербы. Отец вздумал принять участие в нашей игре и предложил брату бить себя вербой, сказав: «Увидим, кто больше ударит...» Брат с восторгом ударил отца, но вслед за тем получил до того сильный удар, что вскрикнул от боли. Отец сказал: «Ну, теперь опять твоя очередь. Не плачь! На то игра: верба хлес – бьет до слез!...» Но брат продолжал плакать, за что получил новый удар, за которым последовало еще несколько медленных, но не менее жестоких ударов. Отец славился своей силой: он сгибал в узел кочергу. Сперва я не смела вступить за брата: о правах родителей я имела такое понятие, что они могут не только наказывать, но и убивать детей, а несправедливости я еще не понимала. Но вопли брата заставили меня все забыть: я кинулась к нему и заслонила его собой, оставляя на жертву отцу свою открытую шею и грудь. Ничего не заметив, отец стал бить меня. То умолкая, то вскрикивая сильнее, я старалась заставить его прекратить жестокую игру, но он, бледный и искаженный от злости, продолжал хлестать вербой ровно и медленно... Не знаю, скоро ли кончилась бы эта сцена и что было бы с нами, если б на крик наш не прибежала мать и не оттащила отца. Мы были окровавлены: мать, как я помню, в первый раз в жизни прижала меня к сердцу, но нежность ее была непродолжительна: опомнясь, она велела мне идти в детскую и грозила наказать, если я осмелюсь еще раз без ее позволения играть в спальне. Отец молча ходил по комнате, как будто приискивая новую пищу своему бешенству. Наконец он спросил еще графин водки, выпил весь, взял шляпу и вышел. Пронзительный визг собаки, попавшейся ему в прихожей, раздался по всему дому.

В такое расположение духа отец впадал обыкновенно от неприятностей по службе, неудач в волокитстве, ревности жены. Помню, раз он при матери поцеловал какую-то хорошенькую женщину. Я готова была кинуться на него, видя слезы матери, которая нисколько не скрывала своего гнева; отец ушел в бешенстве вместе с гостьей...

Между тем семейство с каждым годом прибавлялось. Родители признали нужным для нас воспитание и заставляли нас сидеть за столом с книгой по два часа в день. Учение наше не простиралось далее затверживания басен с нравоучениями вроде: «Раскаяние не помогает», и некоторых молитв, в которых мы ни слова не понимали. Но ими ограничивалась вся наша религия.

Мы очень часто старались определить себе, что такое чорт, которого мы ясно видели по ночам или в темных комнатах, благодаря нелепым рассказам нянек и кормилиц; с расспросами о нем мы прибегали к тетушкам, которые нельзя сказать, чтоб тоже пользовались жизнью и свободой, а потому нам немало доставалось и от них: недовольные матерью, они вымещали свой гнев на нас. Ответ на наши расспросы был обыкновенно короток и выразителен: «Прочь! Надоели! Выдеру уши», и часто любознательный возвращался с красными ушами, чтоб снова принять участие в прениях о чорте...

Никаких книг, кроме азбуки, я не видала, потому сказки кормилицы казались мне чем-то необыкновенно привлекательным. Если герой или героиня страдали, то мы плакали и просили кормилицу сделать их счастливыми, обещая ей за то сухарей. Сухари играли между нами роль ходячей монеты. Нам давалось в день по четыре сухаря, и они составляли единственную собственность, бывшую в полном нашем распоряжении. Но мне нередко приходилось заменять сухари своими куклами, потому что меня беспрестанно оставляли без чаю. Торговля у нас процветала: даже личные оскорбления выкупались сухарями. Раз, раздраженная насмешками и разными выходками старшей сестры, мешавшей мне играть, я увлеклась гневом и, пренебрегая последствиями, ударила ее в лицо. Оскорбленная с радостью бросилась к двери и угрожала пожаловаться отцу, который в таких случаях жестоко наказывал виновную, не разбирая причин, заставивших прибегнуть к такому сильному средству. Зная, что могу откупиться, я была

спокойна и предложила сухари. Но на этот раз сестра, по чувству оскорбленного достоинства, отвергла такой обыкновенный выкуп и предложила мне следующее условие: подавать и убирать ее игрушки, когда она прикажет, в продолжение пяти лет. Я приняла условие, рассчитывая на его нелепость, но ошиблась в расчете. Последствия были печальны. Не знаю почему, жалобы и оправдания мои не имели никакого веса не только у старших, но даже у братьев и сестер; самые младшие могли безнаказанно рвать мои куклы и платья, щипать и толкать меня, проходя мимо, не потому ли, думала я, что я очень черна, но старший брат был так же черен, однакож не страдал от своей черноты, напротив, даже пользовался некоторым весом, по своей силе и упрямству. Сестра нарочно приноровляла свои приказания так, чтобы беспрестанно отрывать меня от моих кукол. Наконец однажды терпение мое лопнуло: я отказалась исполнять ее приказания. Она побежала жаловаться тетеньке. Тетенька находила особенное удовольствие наказывать меня. Угрозы градом посыпались на мою черную голову. Но я не смутилась и наотрез объявила, что «уж довольно: целые три года я была дурой и слушалась сестру, а теперь больше носить ей игрушек ни за что не буду...» Уши, мои бедные уши всегда страдали первые! Тетенька за ухо повела меня в угол; я начала плакать и жаловаться, но дорого заплатила за свое сопротивление: объявили, что не дадут мне есть целую неделю. Меня так часто оставляли без чаю, без обеда, без ужина по целому месяцу, что такое наказание обратилось мне в привычку, и я страдала только в таких случаях, когда, забывшись, подойдешь, бывало, к столу, и вдруг закричат: «А вы-то зачем? Разве забыли, что вы сегодня без чаю!..» Тогда я злилась и плакала... Раз меня оставили без пирожного. Тетенька вздумала подшутить надо мной при посторонних и сказала с злой усмешкой: «Дай свою тарелку, я положу тебе пирожного!..» Я вся вспыхнула, но тотчас оправилась и отвечала, что доктор запретил мне есть это пирожное... Ярость исказила лицо тетушки, она торжественно объявила гостям, что я бесчувственная: смею еще шутить, когда наказана, и прибавила, что мне нужно наказание посильнее. После обеда она привела в исполнение свою мысль...

Но, за исключением этих маленьких неприятностей, до десятилетнего возраста мы жили весело и свободно, предаваясь играм без различия пола, потому что родители нас тоже не различали. Наказание розгами было в одинаковом употреблении как для мальчиков, так и для девочек. Не секли только старшую сестру, которая считалась смирной, умной, прилежной девочкой. Бывало, если у меня нет своего горя, я вступалась за обиженного и за него получала наказание, но сестра ничем не трогалась, спокойно смотрела, как при ней обижают невинного, и никогда не плакала...

Смерть бабушки положила конец золотым дням нашего детства – золотым, потому что скоро мы лишились и тех радостей, которыми при ней пользовались. Бабушка сделалась очень больна, и как ей было уже 60 лет, то она и не могла перенести трудной болезни. В один вечер больной сделалось очень дурно; нас всех уложили ранее обыкновенного, что всегда делалось в торжественных случаях. Не знаю как, но у меня достало духу спрятаться в темном углу комнаты, освещенной одной лампадой, и я видела, как рыдала дочь бабушки – тетенька Александра Семеновна; мать моя тоже плакала, но ее слезы совсем не походили на тетенькины и не трогали меня; отец был серьезен. Бабушка всех их благословила образом, простилась с ними и потребовала внучат, но мать сказала, что она может проститься с ними заочно. Больная не настаивала и, усилив голос, требовала, чтоб мать и отец поклялись перед образом не обижать сироту, которая, рыдая, лежала у ее ног. Мать что-то много говорила умирающей бабушке, та отвечала едва слышными вздохами и качанием головы, как будто в знак благодарности, – и вдруг голова ее быстро наклонилась набок. Отец оттащил громко зарывавшую мать от постели и увел ее в другую комнату, оставив у ног почти уже мертвой старухи одну ее дочь... Мне стало страшно, я бросилась в детскую, где было тихо и темно, мигом разделась и легла...

Утром нас разбудили, повторяя: «Вставайте, ваша бабушка умерла!» Я вскочила и прямо побежала в комнату, где накануне бабушка благословляла мать и отца, но остановилась на

пороге как прикованная, оцепенев от ужаса: сморщенное и неподвижное тело омывали на полу две женщины, грубо вывертывая окоченевшие руки и ноги; лица я сначала не могла видеть, потому что оно было закрыто склоченными седыми волосами; но когда одна из женщин схватила волосы и откинула назад, чтоб их мыть, я узнала бабушку – чуть не вскрикнула от страха и убежала. Заметив мою бледность, стали спрашивать о причине:

– Я видела бабушку, ее моют какие-то женщины! – отвечала я, дрожа.

Меня грозились наказать за любопытство, но за недосугом ограничились угрозой. Когда я потом увидела бабушку, лежавшую на столе в белом чепце и капоте, то не могла понять, отчего так сильно испугалась ее утроб.

Почти все жильцы дома перебивались у нас посмотреть на бесчувственное лицо бабушки и на плачущую тетеньку. У гроба читал что-то в нос дьячок с маленькой косичкой, которого мы развлекали расспросами и рассказами. Нежность матери к тетеньке от меня не укрылась: она при всех беспрестанно целовала ее, сажала возле себя и уговаривала есть. Мне было очень жаль тетеньку... Наступил день похорон. Мы радовались, что нас повезут на кладбище, а решились взять нас потому, что не с кем было оставить дома... Комната, где стояло тело, наполнилась народом. Заунывное пение причетников, странные взвизгивания матери стеснили мне дыхание, я также начала горько плакать. Началось прощанье: холодно и задумчиво подошел к гробу отец наш и поцеловал свою мать, которой очень редко приходилось видеть ласку сына при жизни; за ним с криками приблизилась маменька отдать последний долг женщине, потерпевшей от нее много горьких слез и унижения. Поцеловав бабушку, она начала биться, протяжно стонать и упала у гроба. Ее оттащили и принялись ухаживать за ней. Наступила очередь дочери, я думаю, единственного существа, любившего покойницу и имевшего право на последний поцелуй. Тихо рыдая, прильнула она к посинелым губам своей матери, потом к глазам, потом опять к губам – и долго бы оставалась в таком положении, если б отец не оторвал ослабевшую сестру свою от покойницы и не передал ее на руки скупавших родственников. Наступила наша очередь, и я от тяжелого впечатления дрожала вся и рыдала, целуя в последний раз бабушку. За нами последовали с постными лицами родственники и посторонние, за ними прислуга. Вдруг наступило молчание, никто уже не подходил прощаться, но как будто невольно медлили накрыть гроб. Священник спросил: «Все ли простились с усопшей?» Ответа не было, и он сделал рукою знак. Когда наложили крышку на гроб, мне сделалось так тяжело и душно за бабушку, как будто меня заколачивают вместе с ней, – и первый удар молотка до того потряс меня, что я закрыла руками лицо и заплакала. Не знаю, долго ли я плакала, но меня вывел из этого состояния брат, который толкнул меня и сказал:

– Наташа, беги скорей в карету, а то опоздаешь, останешься одна дома!

Испуганная, я побежала за ним из комнаты.

Медленный поезд за гробом закачал меня, и я очень сладко заснула. Когда же нас высадили из кареты, я тотчас побежала в поле, которое увидела теперь в первый раз в жизни. Я собирала цветы и разные мелкие травки, бегала за бабочками и даже одну поймала, что доставило мне неописанную радость; потом я сжала ее над ней и дала ей свободу лететь, но бедная бабочка тоскливо билась крыльями и вертелась у меня на руке, – тут только я заметила, что по неосторожности сломала ей одно крылышко... Я готова была плакать, как вдруг услышала пение, которое напомнило мне, где я и зачем я здесь. Я бросила бабочку и, как стрела, пустилась навстречу пению. Запыхавшись, я примкнула к шествию, и мы вошли в сад с каменными куклами, как мне тогда показалось. Процессия остановилась у приготовленной могилы. Мне бросился в глаза червяк, длинный, предлинный, который вертелся с необыкновенной быстротой на взрытой земле. Я начала вглядываться и увидела множество червей, которые отчаянными усилиями старались выползти из земли, чтоб вновь с быстротой в нее же скрыться. Вдруг меня кто-то дернул за платье, я обернулась и увидела двух безобразных, морщинистых старух в черных салопках странного фасону и в черных платках.

- Кого это хоронят, из ваших, что ли?
- Да, это мою бабушку хоронят.
- А которая ваша маменька, полная или худая?
- Нет, полная.
- Ах, она, моя голубушка! Как хорошо плачет! Что ж, это ее мать умерла?
- Нет, та бабушка жива.
- Так это она, моя родная, плачет о чужой матери?
- Как о чужой? Она бабушка.
- Так вот она этой худой-то мать?
- Да, это наша тетенька.
- А кто ваш отец?
- Мой отец? – И я приостановилась. – А вот показался, вот он!
- Нет-с, мы хотим знать, где он служит?
- Он музыкант.
- Что? – спросила одна старуха. – Му-зы-кант?
- Старуха произнесла это слово очень протяжно: я повторила им:
- Музыкант!
- У твоей бабушки были деньги? – снова спросила старуха резким тоном.
- Мне показалось странным, что она вдруг начала называть меня «ты». Я отвечала холодно:
- Какие деньги?
- Ну, оставила ли твоя бабушка денег твоей тетке?
- Нет!

Я сказала это назло старухам, сама не зная, были деньги у бабушки или нет.

– Ах она, бедная! Сирота, без отца, без матери!

Тут обе старухи принялись вздыхать и соболезновать о горькой участи сироты. Но они скоро замолкли, обратив внимание на суету, происходившую в процессии. Начали опускать гроб в могилу с криками, плачем и пением. Я не могла без отвращения подумать, что бабушку оставят одну в земле и с таким множеством червей... Начали бросать землю на гроб. Мать моя довольно трагически бросила свою горсть земли в могилу, потом она взяла тетеньку за руку и отвела ее от могилы, сказав:

– Полно, полно, теперь уж все кончено!

Тетенька в первый раз вскрикнула и упала на грудь маменьки. Я видела эту сцену и плакала, а когда тетенька упала, я хотела обежать могилу, чтобы стать к ней ближе, но одна из старух схватила меня за руку и сказала:

– Что же ты не бросила земли своей бабушке? Видишь, все бросают!

– Оставь меня! Я не хочу бросать червей в могилу к бабушке.

– Вот! Не все ей равно – одним больше, одним меньше! – подхватила другая старуха с отвратительным смехом.

– Если не бросишь, так твоя бабушка сегодня же ночью придет к тебе в саване и...

Не дослушав страшных слов старухи, я в испуге бросила в могилу цветы, вырвала свою руку и побежала за матерью. Старухи провожали меня смехом, похожим на воронье карканье.

Прибежав к церкви, я была тотчас втиснута в карету, уже наполненную братьями и сестрами. Мать спросила у сидевшей с нами девушки: «Все ли тут?», та отвечала: «Все-с», и потом уже начала пальцем считать нас; по счету оказалось восемь, то есть ни больше, ни меньше того, сколько нас было... Мы двинулись, но, сделав несколько сажен, карета должна была остановиться. Навстречу несли маленький гроб; за ним в изнеможении, спотыкаясь, бежала бледная женщина. Она ломала руки и кричала, как будто желая остановить шествие. В первый раз в жизни видела я такое сильное отчаяние и очень удивилась, как можно так горько плакать

о маленьком ребенке, вспомнив смерть своей сестры, о которой никто не плакал. Маменька кстати поспешила меня вывести из затруднения своим замечанием.

– Вот дура! О чем плачет, – сказала она вслед рыдающей женщине. – Какой клад потеряла. Видно, первый! Дала бы я ей столько!.. – И тут она выразительно показала головой на нашу карету и потом сердито закричала нашему кучеру: – Болван! Что стоишь?

Кучер вздрогнул от неожиданного приветствия, и, как чрез электрический удар, его испуг разрешился на костлявых боках лошадей, которые, вздрогнув в свою очередь, благополучно двинулись после двух или трех отчаянных усилий... Дорога показалась мне очень коротка; каждый из нас рассказывал свои впечатления и похождения на кладбище: кто говорил про червей, кто про покойников, которых было в тот день довольно много.

Мы приехали домой. Комнаты наши совершенно изменились. Вместо гроба я увидела длинный стол, отягченный разного роду бутылками. Гостей было очень много; скоро все уселись за стол, кроме детей, которым не оказалось места, потому что за наш стол усадили дьячков. Начали подавать кушанье.

Тишина воцарилась страшная, так что я выглянула из другой комнаты, чтоб узнать, не опять ли хотят заколачивать гроб бабушки. Но меня успокоили довольные лица гостей, вместо гроба – бутылки, вместо запаху ладана – приятный запах ухи и огромной кулебяки. Обедали много и долго, так что мне даже стало скучно смотреть, как всё жуют да жуют, а медленное покачивание отуманенных голов наводило на меня уныние...

Несмотря на трехдневный страх, я провела время похорон приятно, потому что я в первый и последний раз в моем детстве чувствовала себя свободной, вероятно по той причине, что никто не думал о моем существовании...

Глава II

Нежность маменьки скоро истощилась: она в тот же день простилась с тетенькой Александрой Семеновной очень холодно, а утром сердилась на нее за беспорядки в кухне и детской. Тетенька, не дожидаясь шести недель, вступила в права наследства, которое состояло из образа, старого салопы и двух пуховых подушек. Взамен нежности и участия маменька дала ей неограниченную власть в детской и ограниченное управление в кухне.

Скоро произошли у нас большие перемены. Мать нашла излишним видеть детей в зале и в своей комнате, потому вход туда был нам запрещен под строжайшим наказанием. Даже десятилетний обычай был отменен: мы более не прощались с отцом и с матерью. «Дети, – говорила она, – и без того надоедят в течение дня, да и здоровье не позволяет мне возиться с ними!» И, может быть для поправления расстроенного здоровья, она просиживала не только целые дни, но и ночи напролет за картами. Страшно было приближаться к ней иногда: ночь без сна, значительный проигрыш до того раздражали ее, что она нередко сама отменяла утреннее целование руки, страшась за последствия. Отец был недоволен страстью жены своей к картам. Частые ссоры из-за денег больше и больше ожесточали маменьку против детей. Для успокоения своей совести она даже принялась вести счета, из которых отец ясно мог усмотреть, что страсть к игре стоит ей какие-нибудь сотни в год, а на детей идут тысячи. В самом же деле было наоборот. Утро было особенно тягостно для всех в доме. Повара бранили за то, что он не умел сотворить чуда – накормить двадцать пять человек тем, что едва доставало для десяти. Тетеньке доставалось за все: за неисправность прислуги, за то, что гости выпили много вина, за детей, которых она в тот день не видала в глаза; словом, мать кричала и наказывала не по мере надобности, а по мере проигрыша... По какому-то предопределению я всегда попадалась под первые порывы ее раздражительности. Раз, заметив меня в зеркало, перед которым тетенька чесала ей голову, она потребовала меня читать по-русски. Чтение началось; за каждую ошибку я получала толчок то в голову, то в спину. Слезы мешали мне читать, и я, как назло, делала ошибки на каждом слове. В бешенстве она, наконец, ударила меня так сильно по руке, лежавшей на книге, что книга полетела вверх, а рука моя хрустнула и, как гиря, спустилась вниз. Я взвизгнула и побледнела от боли.

Отец явно обрадовался горячности своей жены: он сам был удален от управления домом и детьми за свою вспыльчивость, а притом теперь ему представился случай попрекнуть жену страстью к игре, производящей такие последствия. Он начал осматривать и вытягивать мою руку; я горько плакала... Наконец он велел мне итти в детскую; я пошла, освободившись таким образом от чтения, но боль не помешала мне, уходя, слышать их разговор:

– По-вашему, ей не нужно учиться читать?..

– Да что ж за толк, если ты выучишь ее читать, а писать ей будет нечем?

Тут мать начала говорить очень скоро, и когда я подходила к детской, разговор их превратился в крики и слезы.

Этот-то роковой случай решил нашу участь. Родители положили нанять нам гувернантку. К несчастью, случай скоро представился. Одна знакомая дама отказала своей гувернантке за излишнюю грубость с детьми. Несмотря на страшное стеснение корсетом, которому подвергалась добровольно, с примерным самоотвержением, эта двадцатичетырехлетняя девица, говорившая, что ей двадцать один год, любила в обращении с детьми полную свободу: уши бедных малюток были всегда в крови; она нарочно отращивала себе средний ноготь и стригла его остроконечно, чтобы невинное наказание было чувствительней. Если корсет мешал ей поднять высоко руку, то она приказывала жертве становиться на колени, тянула за ухо или за волосы кверху и требовала, чтоб жертва приседала вниз. За послушание наказание увеличивалось. Она

брала линейку и делала наперед такое условие: если хорошо будешь подставлять ладонь, получишь десять ударов, если станешь хитрить – двадцать.

Примерная строгость и одинаковый взгляд на воспитание покончили дело очень скоро: она была нанята за четыреста рублей ассигнациями в год учить всему, чему хочется, смотреть за нравственностью, как заблагорассудит, наказывать сколько душе угодно и как угодно; даже ей предоставлялось право, если окажется нужным, требовать на помощь лакея при наказании братьев, которые были довольно сильны... Для представления гувернантке нас вымыли, вычесали и приодели. Меня представили как лицо подозрительное, требующее неусыпного надзора и особенной строгости, выражаясь так:

– Она совершенный мальчик, даже все с ними играет, а уж какая ленивица! Как за книгу, так и в слезы!

Гувернантка успокоила мать надеждой на мое исправление, сказав мне:

– M-lle Nathalie, вы должны исправиться, а не то я буду наказывать вас вместе с мальчиками.

Физиономия гувернантки никому из нас не понравилась. Ее рыжие волосы были убраны с необыкновенной тщательностью, ее карие и злые глаза то быстро перебежали, то останавливались на одном предмете, как бы желая проникнуть его насквозь; ее большой рот беспрестанно улыбался, что придавало ее большому и круглому лицу, поминутно краснеющему и покрытому бесчисленным множеством веснушек и каким-то белым порошком, выражение злое и приторное. Талия ее превышала всякое вероятие: она была до того стянута, что ее плечи, довольно толстые и широкие, изобильно покрытые коричневыми веснушками, совершенно багровели и уподоблялись кускам сырой говядины.

Костюм ее был так же неприятен, как она сама. Ее руки, белые и мягкие, были обезображены синими ногтями и бесчисленным множеством колец и перстней, в которых, по тщательному разысканию одной из тетушек, изумруды и рубины оказались поддельными. Впрочем, такое открытие нисколько не помешало их дружбе; разные секреты и одолжения по части туалета совершенно погасили на время враждебные ощущения, возникшие в тетушках по поводу французского языка, знание которого составляло преимущество гувернантки. Мы заметили, что лица у тетушек также вдруг побелели...

Что касается до нас, то прежде всего мы превратились из Сони, Кати, Наташи – в Sophie, Catherine, Nathalie, а братья – в Jean, Michel и т. д. Тетенек гувернантка называла *ma chere*;¹ они начали называть ее тоже *ma chere*.

– *Ma chere, Catherine* надо сегодня наказать.

– Хорошо, *ma chere*, я оставлю ее без гостинцев, которые сегодня обещаны.

Наказания были так рассчитаны, что гувернантка и тетушки всегда получали двойную порцию пирожного или десерта... Нам же приказано было звать гувернантку: *Mademoiselle*. Во французском языке мы оказали быстрые успехи: *Permettez-moi sortir*, – *pardonnez moi*,² – последнее я очень скоро заучила.

Нашу свободу еще больше стеснили. Детей всех заключили в одну комнату; другая, смежная с ней, превратилась в классную, в швейную, в спальню трех тетушек и гувернантки и в столовую. (Нужно заметить, что ни мы, ни тетеньки за общим столом со смерти бабушки не обедали.) Входить туда в неклассные часы нам запрещалось... Комната, куда нас запрятали, была очень мала для восьми человек детей, что, однакож, не помешало сделать в ней антресоли, куда складывали грязное белье со всего дома, разный хлам, детский гардероб, очень не пышный. Но взамен его там поместилось такое множество тараканов, что в комнате никогда не могла воцариться полная тишина: как скоро шум смолкал, явственно слышался глухой, таин-

¹ Моя дорогая (*ред.*).

² Разрешите мне выйти, – простите меня (*ред.*).

ственный шорох, напоминавший поэтическое трепетание листьев, колеблемых ветром. Горе забыть там что-нибудь съестное, тотчас все пожиралось хищными усами... С самого дня рождения ребенка кормилица поселялась с ним на антресолях, в обществе прачки, имевшей обычай напиваться до чортиков. Мать шесть недель не видела ребенка, ссылаясь на то, что перемена воздуха для ребенка вредна, а ей взбираться вверх по лестнице не позволяет здоровье... Дочерей она особенно не любила, рассуждая так:

– Мальчик подрос – и с глаз долой, а девочку держи, пока замуж не выйдет, да кто и возьмет-то? У отца ничего нет, а уж на лицо никто не польстится... И не знаю, в кого они такие родятся? Отец недурен, мать, кажется... – Тут она останавливалась, давая время договорить какой-нибудь знакомой, нуждавшейся в ее помощи. И когда та замечала, что «вы, матушка Марья Петровна, можно сказать, королевна, и уродись в вас дочки-то ваши, их бы с руками оторвали без приданого», она заключала – Да-с, нечего сказать, наградила бог уродами... Если б вы видели, какие у них ноги... ужас! По крайней мере с мои...

Надо заметить, что у самой у ней ноги были чрезвычайно огромны и безобразны, и потому, говоря о ком-нибудь, она обыкновенно начинала с ног, нападая на них с непомерным ожесточением, особенно если они были недурны, а потом уже доходила до головы; вообще она не любила пропускать ничего, перебирая недостатки своих дочерей с таким наслаждением и восторгом, как иная нежно любящая мать говорит о достоинствах детей своих, не пропуская ни одного самого незначительного и даже в избытке горячности изобретая небывалые... Если кормилица сходила вниз, то ей выговаривали, зачем она толкается по всем комнатам, и запрещали сходить вниз без зова.

Само собою разумеется, что при таком порядке вещей за больными детьми ухаживали очень плохо.

Раз в зимний вечер мы сидели на антресолях, освещенных ночником, устроенным в помадной банке, куда налито было постное масло с поплавком. Стоны больного ребенка, смешанные с разным бредом тут же спавшей прачки, невольно заставили нас прекратить игру в дурачки и заговорить о больном брате.

– Что, если он умрет?.. Ведь будет страшно сидеть на антресолях!..

Вдруг раздался в углу на кровати какой-то странный крик. Вздвигнув, мы оглянулись и видим прачку, которая, с растрепанными короткими волосами, с бледным лицом, вся дрожа, приподнималась с кровати. Мы испугались и назвали ее по имени. Она вскочила и, кинувшись к нам, закричала:

– Прочь, черти! Вы хотите меня задушить!

С шумом и воплем мы побежали к лестнице, опрокинули ночник и не сбежали, а почти скатились вниз. На крик наш прибежали нянька и кормилица и, расспросив нас, отправились на антресоли. Там все было вверх дном. Подушки на полу, скамейка опрокинута, наши салоны на полу... Заглянули в люльку и нашли брата в страшных конвульсиях. Через пять минут страдания его прекратились. Бедного ребенка, вероятно, испугали...

Мать сидела в то время за картами, и когда ее известили о смерти сына, она, к общему удивлению, начала кричать и плакать. Приказано было как можно скорее хоронить ребенка, потому что сердцу матери зрелище смерти родного детища еще тягостней его страданий... С воплями удалилась она к себе, но ненадолго... На другой же день к вечеру ребенка похоронили очень просто и тихо, и если над ним проливались слезы, так разве слезы сестер и братьев, поссорившихся за какую-нибудь игрушку и поколотивших друг друга. Похороны происходили обыкновенно таким образом: нанималась карета; приходили докладывать отцу и матери, не угодно ли им проститься с телом? Мать переносила такие тяжкие минуты с удивительным спокойствием, делающим честь ее твердости, и оканчивала сцену очень скоро. Она подходила к гробу, крестила ребенка и небрежно целовала его в лоб, говоря: «Бог с ним! Не о чем плакать; довольно еще осталось!..» Впрочем, она могла бы и вовсе не произносить утешительных слов,

потому что на лицах присутствующих ясно выражался запас мужества, достаточный для перенесения такой утраты. Отец, не любивший сидеть дома, не всегда бывал при выносе тела.

Таким образом умерло и схоронено три сестры и один брат...

Глава III

Гувернантка очень скоро обнаружила систему воспитания, совершенно согласную с требованиями наших родителей, и тем заслужила полное их расположение. С ее вступления детского смеха вовсе не было слышно, а наши беспрестанные слезы доказывали, что люди, которым нас вверили, неусыпно пекутся о нашей нравственности и спокойствии родителей... Дух угнетения был сильно развит в гувернантке; может быть, она хотела применить к делу систему тирании, в которой сама была воспитана, – и нельзя сказать, чтоб семена упали на бесплодную почву. Никакая шалость не ускользала от ее зорких глаз; с непонятным терпением разыскивала она преступника, и если ей не удавалось открыть его по разным признакам и допросам, она покорялась воле судьбы и равно наказывала правого и виноватого. Случалось, меньшие братья, запуганные угрозами и толчками, выдавали старших: тогда наступал для нее истинный праздник... Но средства не всегда позволяли ей удержаться до конца на приличной высоте. С величием объявив приговор, она иногда сама нисходила до роли палача... Потом из палача она превращалась в нашего шпиона, но иногда дорого платилась за унижительную роль свою: заметив с антресолей ее приближение, мы старались завлечь ее нашими разговорами, спрашивая друг друга: что будет на том свете тому, кто подслушивает? – «Сожгут на медленном огне». – «Нет, колесуют». – «Вытянут жилы!» И потом на голову гувернантки лилась вода, летела целая туча пуху из распоротой подушки... Разумеется, удача сопровождалась хохотом, который выдавал нас догадливой наставнице. Стыд мешал ей приступить тотчас к расправе, но при случае мы дорого платились ей за минутное торжество. Впрочем, старшие сестры розгам не подвергались. А брат Миша часто избегал наказания своей отвагой и силой. Если ж удавалось его наказать, он всячески мстил гувернантке и тетушкам, к неописанной нашей радости: грубил им, смеялся над ними, – так что, наконец, они стали его бояться и избегали с ним ссор... Я же и остальные братья расплачивались за всех, подвергаясь всевозможным наказаниям, без границ и разбору. Расправе обыкновенно посвящался седьмой день; между виновными к стати наказывались и невинные в зачет будущих преступлений.

Прочитав молитвы, мы садились за ученье в девять часов утра; в час ученье оканчивалось; приносили завтрак, которого мне почти никогда не приходилось попробовать. Я была охотница передразнивать, и передразнивала так удачно, что, застав меня врасплох, тотчас догадывались, кого я хотела представить, а иногда гувернантка, любившая доказывать свое усердие числом наказанных, ни с того ни с сего обращалась ко мне и извещала, что я сегодня без завтрака. В утешение себя я отвечала вполголоса, что «сама не хотела есть», а пришед на антресоли, брала квасу, хлеба и соли и наедалась из опасения, чтоб не оставили еще и без обеда. И часто опасение мое оказывалось основательным...

После обеда часа в четыре мы снова садились учиться. Во время класса учить уроков нам не позволялось. Мы писали по диктовке, а всего чаще читали священную историю. Один читал вслух, остальные слушали. Время от времени гувернантка неожиданно приказывала продолжать другому, и малейшее замешательство влекло за собой строгое наказание. Виновному приходилось выстоять на коленях весь класс, продолжавшийся до семи часов... Гувернантка сама тяготилась продолжительностью классов, потому что нелегко самому гениальному наставнику занять детей часов десять в сутки; но маменька, предоставив нас в совершенное распоряжение гувернантки, одного строго от нее требовала взамен беспредельной доверенности – ежеминутного пребывания при детях... В будни она решительно не позволяла ей выходить со двора, а тетеньки, как два дракона, стерегли нашу наставницу. Если она кончала класс десятью минутами раньше, они делали ей замечание и грозились сказать маменьке...

Гувернантка любила военных, и так сильно, что решительно не могла противиться своей страсти. Заслышав полковую музыку, завидев офицерские эполеты, она тотчас бросалась к

окну. Иногда офицер, вероятно не подозревая в ней наставницу стольких детей, делал ей ручкой, – тогда она возвращалась к столу вся красная и долго не замечала беспорядков, возникших в ее отсутствие... Но тетеньки, которые постоянно сидели в той же комнате и потихоньку за нами подглядывали, тотчас всё ей пересказывали, язвительно намекая на ее слабость к офицерам. От намеков дело доходило до колкостей, за которыми градом сыпались взаимные упреки: притирания, кокетство, виды на замужство, тайные помыслы и невинные хитрости – ничто не забывалось в такие минуты. Крик был страшный – говорили все вместе, – движения резкие, странные. Чтение прекращалось; мы слушали с напряженным вниманием, но к великой нашей досаде являлась тетенька Александра Семеновна и разнимала разгоряченных дев... Но долго еще время от времени перекидывались они ругательствами и злобными взглядами. Так после сильного пожара из почерневшей массы вдруг взойдется пламя, осветит на минуту страшное разрушение, а там опять все покроется мраком, до новой вспышки пламени в другом месте...

В такие дни мы могли шалить и грубить тетушкам безнаказанно; гувернантка даже поощряла нас. Впрочем, примирение их совершалось очень скоро и просто, без всяких объяснений и извинений. Они знали, что не остались друг у друга в долгу и, наскучив молчать и дуться, тотчас возвращались к любимым своим разговорам, секретам и планам и снова дружно, соединенными силами преследовали детей... Тетенька Александра Семеновна, занятая по хозяйству, не имела времени участвовать в наказании своих племянников и племянниц... да, вероятно, и не хотела: она была добра и, кажется, любила нас... Но сестры матери не могли не ожесточиться против ее детей: сидячая жизнь, заключенная в одной комнате, чуждая всякого разнообразия, вечное шитье, вечные сплетни – такая жизнь может ожесточить даже самых кротких девиц, а тетушкам было уже за 25 лет, и надежда на замужство согревала их сердца с каждым днем слабее. Правда, по праву старого знакомства, к нам в детскую ходили мужчины, но до того бедные и жалкие, что даже тетеньки не решались на них рассчитывать. Исключение оставалось только за молодым человеком по имени Кирилом Кирилычем. Высокий, худощавый, с длинным носом, с красным лицом, с глазами кролика (за исключением простодушного выражения), с длинными белокурыми волосами, – он не отличался особенной красотой, но ловкость, любезность, хорошее состояние с избытком заменяли недостаток красоты. Сердца тетушек, и без того легко воспламенявшиеся, запылали... Даже маменька оказывала Кириле Кирилычу особенное внимание, которое не укрылось от ее сестриц и гувернантки, а следовательно, и от нас: мы с своих антресолей постоянно наблюдали кокетство тетушек и гувернантки и подслушивали их дружеские разговоры, в которых мы играли важную роль. Каким образом?... В стене над печкой, почти под самым потолком, открыли мы маленькую щель; понемногу я сделала из нее отверстие вроде слухового окна и, забравшись в промежуток между печкой и потолком, не только слушала, но и все видела, что делали в другой комнате наши враги... Мы довольно долго наслаждались нашим изобретением, употребляя иногда выражения, подслушанные у тетушек, которые в таких случаях быстро переглядывались, спрашивая глазами друг друга: «Откуда они все это знают?» Но, наконец, наблюдения наши прекратились, и очень печальным образом!

Раз как-то, отправляясь на печку, я неосторожно подняла пыль, которая предательски бросилась мне в горло и в нос, как будто желая отомстить за нарушение ее спокойствия. Я крепилась, жмурилась, но, к ужасу моему, вдруг громко чихнула. Говор затих внизу, – я могла бы еще спастись, но, к несчастью, одним разом не кончилось: я чихнула еще, потом еще, и когда, наконец, я успела освободить из засады половину своего тела, мне уж не пришлось заботиться о другой: за меня трудилась гувернантка, которая впиалась в мои уши, как бульдог. Я очутилась в детской, окруженная яростными тетушками, которые хором бранили меня. Когда первый порыв негодования прошел, гувернантка поставила меня на колени, не приказав давать мне ни чаю, ни ужина, а между тем я в тот день была без обеда и очень рассчитывала на ужин. Спать меня также не отпустили: я простояла на коленях до двух часов ночи. Наконец гувернантка отпустила меня спать, пообещав завтра новое наказание. С мучительной болью я встала с колен

и насилу дошла до детской; здесь царствовала тишина, братья и сестры крепко спали... Мне стало тяжело, рыдания мои разбудили брата Ивана. Он достал из-под подушки кусок хлеба, тихонько сунул мне его в руку и сказал:

– Ешь поскорее, Наташа! Пожалуй, рыжая опять придет нас обыскивать!

– Как же ты, Ваня, спрятал его?

– Я его положил себе в сапог. Ведьма пришла нас обыскивать, не спрятали ль мы чего-нибудь для тебя; но осталась с носом. Понюхала, слышит: пахнет где-то хлебом, а где? – не может найти.

– Неужели не догадалась?

– Нет, надул проклятую! Всю постель перешарила, велела мне встать... Зато ее Миша славно толкнул; знаешь, будто со сна: я, говорит, испугался, сам не помню, что сделал.

– Меня завтра опять будут наказывать.

И я заплакала.

– Не плачь, Наташа! Она завтра забудет.

И после такого утешения, которому сам несколько не верил, брат заснул. Я была не так счастлива, и, кончив хлеб, смоченный моими слезами, я очень долго не могла заснуть, а во сне во второй раз вытерпела все, что было со мной наяву.

Дни шли, Кирило Кирилыч все более и более приобретал вес в нашем доме. В туалете маменьки произошла разительная перемена, волосы ее причесывались гораздо тщательнее, раз в неделю она добровольно подвергала себя пытке, то есть выдергиванию из своей головы седых волос, едва начинавших показываться. Свежесть лица ее стала удивительна, чему способствовало то растение, которое впоследствии произвело переворот в сахарном производстве. Ее талия, наслаждавшаяся уже четырнадцать лет свободой, вдруг была заключена в корсет, халаты заменились платьями, в зале появились даже пяльцы, за которые она прежде не садилась ни разу в жизни. С первого взгляда она могла показаться красивой: высокий рост, умеренная полнота, придающая женщине в известные лета особенную привлекательность, лицо небольшое, нос прямой, рот довольно хороший (пока она молчала), зубы необыкновенно белые и ровные, наконец – редкость у женщин, даже красавиц – горло прекрасной формы, в красоте которого она могла бы поспорить с Марией Стюарт; словом, все в ней было недурно. Одни глаза нарушали гармонию ее лица: небольшие, вечно тусклые и строгие, они бегали быстро, и улыбка никогда не отражалась в них, как будто они были созданы для одного гнева. Впрочем, этот недостаток, кажется, не слишком поражал, потому что ее вообще находили очень красивой женщиной, в чем она, кажется, была больше всех уверена. В манере ее кокетства ясно выражались грубость ее натуры и необразованность: оно состояло в неприятном и часто неуместном смехе, кривляний рта и резких движениях.

С некоторого времени все в доме подчинилось Кириле Кирилычу: обед, чай, даже карты – все зависело от его вкуса и расположения. Маменька сама начала заказывать обед, говоря так: «Сашенька, прикажите сделать такое-то блюдо, Андрей (то есть ее муж) очень любит его... А детям можно разогреть что-нибудь вчерашнее». Отец очень часто обедал особо, гораздо раньше, смотря как позволяли служебные занятия, охота и бильярд. Не замечая ничего, что делалось вокруг него, он казался совершенно посторонним человеком в доме и возвышал голос только за обедом, когда находил блюдо дурным. Если он входил в детскую, то единственно для птиц, которых развесил у нас в комнате клеток пять. И, глядя на его попечения о жаворонках, пеночках, канарейках, снегирях, нельзя было не признать в нем сердца любящего и нежного; с какой заботливостью заглядывал он в каждую клетку – вычищена ли она, есть ли корм и питье, – как он сердился за малейшую неисправность на сестру Катю, которой поручил физическое благоустройство птенцов своих, и с каким примерным терпением сам он развивал в них душевные силы и таланты, насвистывая часа по два сряду на манер чирика или постукивая ножом в тарелку, чтоб подзадорить жаворонка!.. Радость блистала в его глазах, когда жаворо-

нок, наконец, заливался пронзительным криком, будто вдруг почувствовав неистощимую нежность своего благодетеля и приняв твердое намерение щедро заплатить за нее. С неугомонной заботливостью отца многочисленного семейства родитель наш чистил ноги своим жаворонкам; заметив томность в которой-нибудь из своих собак, вверенных также нашему присмотру, давал ей шарик из серы, а на другое утро никогда не забывал потребовать от нас отчета: лучше ли собаке? Понятно, что ему уже не оставалось времени ни для чего другого! Иногда он отрывал нас от учения, приказывая нам ловить мух и тараканов. В детской воцарялась глубокая тишина, нарушаемая только изредка радостными восклицаниями: «Ах, какая жирная!» – «Ах, какой черный!» Отец, сидевший у стола в нетерпеливом ожидании полакомить птиц, говорил наконец: «Довольно!..» Мы подходили к нему, точно к какому-нибудь индейскому божеству, с своими приношениями; оборвав ноги, крылышки и усы у наших жертв, печально жужжавших, мы клали их на стол. Опасаясь за здоровье своих птиц, отец очень сердился, когда замечал муху с ниточкой или таракана с красным сургучом. А таких попадалось довольно. За недостатком игрушек мы, привязав к ногам мухи длинную ниточку, любили следить за ее полетом: муха летала без усталы, пугала других мух и тем утешала нас в долгое классное время. А как, бывало, боялись мы, когда такая муха, вооруженная длинным хвостом, откуда ни возьмется, жужжа полетит по комнате и вдруг сядет на голову угрюмому и озабоченному отцу... что, если он заметит?.. С тараканами происходила другая история. Вырезывалась из карт лошадь, под каждую ногу которой сургучом приклеивался прусак. То же делалось с бумажными гусями и утками, и часто целая стая таких невиданных зверей бежала с необыкновенной быстротой к щелям при радостных наших криках...

Ни товарищей у братьев, ни подруг у нас не было; помню только одну – дочь прачки, поступившей к нам после той, которая все пила. Ее звали Ульяной, а мы называли Улей. Она штопала чулки братьям и мыла носовые платки тетушкам. Я часто ей помогала, чтоб она могла поскорей итти играть с нами в куклы. Она учила нас разным песням. Мы хором затягивали:

Заинька серенький,
Где ты был, побывал?
Был, был, пане мой,
Был, был, радость мой...

Посланная в лавочку, она возвращалась к нам запыхавшись и рассказывала, как ее обнял кучер. Я советовала ей бить таких грубиянов...

– Вишь какие вы, барышня!.. Они ведь сильные!

– Ну, так возьми вперед табаку, да и брось в глаза! – с жаром учила я Улю.

Она нам тоже рассказывала свои похождения: как раз, когда она жила в няньках, один чиновник предлагал ей банку помады, две пары бумажных чулок и два двугривенных.

– Ах, Уля, какая ты дура! Зачем не взяла?.. Могла бы купить себе две куклы...

– Да, барышня, а матушка-то?..

– Она не узнала бы.

– Нет, барышня, узнала бы! Он все просил меня поцеловать его, а если мужчину поцелуешь – беда: все узнают!

– Отчего же?.. Я сама видела, как тебя сколько раз Лука целовал, а ведь ничего...

– Вы не знаете, барышня, что я хочу сказать! – отвечала таинственно Уля.

– Ах, скажи, голубушка Уля!

И мы ближе подвигались к ней. Она с важностью рассказывала нам, как одна ее приятельница взяла от кого-то подарок и как потом мать била ее и выгнала от себя.

– А почем же она узнала, Уля?

Уля улыбнулась.

– Ах, какие вы глупые, барышни!..

Маменька стала по вечерам посещать детскую благодаря Кириле Кирилычу, который иногда приходил побеседовать с тетеньками. Если он с ними шутил – маменька сердилась, если с нею – сердились тетушки; словом, между ними ладу никогда не было... Нельзя сказать, чтоб посещения маменьки улучшили наше положение: чтоб мы ее не беспокоили, гувернантка тотчас же укладывала нас спать; если же было еще очень рано, то расставляла нас по углам, и детская начинала походить на фамильный склеп, украшенный статуями. Маменьку нисколько не поражала могильная тишина нашей комнаты, и только при нашем нечаянно приснувшем смехе она с удивлением спрашивала:

– Разве дети не спят?

– Нет еще, – отвечала гувернантка с гордостью – они сегодня наказаны.

Маменька, обратив иногда внимание на своих детей, удивлялась, что они растут, как другие... В самом деле, мы крепили в борьбе и росли на славу...

Сестра Софья росла всех заметней и, несмотря на старания держать ее, как девочку, начала обращать на себя внимание мужчин... Ей было 14 лет, а талия ее не знала еще прикосновения корсета, что, может быть, способствовало ее скорому развитию. Коротенькое платье, вечно узкое, панталоны, которые иногда были шире платья и которых фасон, кажется, был взят с матросских, маленькая пелеринка, едва закрывавшая ее пышные плечи, – вот костюм сестры. Огромные волосы ее, расчесанные на две косы, доходили до колен, лицо отличалось необыкновенной свежестью, взгляд привлекательностью... Раз, когда я в зале держала маменьке шерсть, к ней пришла одна бедная дама и просила ее крестить, объявив, что крестным отцом обещал быть Кирило Кирилыч. Увидав сестру Софью, которая в то время проходила через залу, дама сказала:

– Ну, Марья Петровна! Как ваша Софья Андреевна выросла, как похорошела! Вот невеста, так невеста!

Маменька изменилась в лице и, пристально осмотрев свою дочь с ног до головы, с сердцем сказала:

– Да что им делается, мать и отец трудись, а они только толстеют!

– Ну, Марья Петровна, недолго вам потрудиться для нее, я думаю, Софье Андреевне уж есть у вас женишки на примете; чем не пара вот хоть Кирило Кирилыч? Слава богу, станет чем прокормить жену и детей.

Удар в лоб, сопровождаемый словами: «Гляди, спускаешь!» вывел меня из напряжения, с которым я слушала разговор; руки мои невольно опустились, и (только тогда) моток действительно спутался. Маменька очень внимательно занялась его распутыванием...

Я все передала сестрам, но недолго мы трунили над Софьей, называя ее невестой Кирила Кирилыча: маменька, отговорившись слабым здоровьем, послала ее вместо себя крестить с Кирилом Кирилычем...

Зимой мы никогда не имели моциону, и если б сами тихонько не бегали на двор, где, точно сорвавшись с цепи, прыгали, валялись в снегу, кувыркались, то могли бы задохнуться от дурного воздуха в детской. Но летом, во время каникул, когда гувернантка отдыхала от тяжких трудов воспитания, мы два месяца наслаждались полной свободой: нам брали билет в один публичный сад; каждое утро нас отводили туда и оставляли без всякого присмотра. И если даже пойдет дождь и сделается буря, за нами не приходили раньше, чем следовало нам возвратиться домой... Братья наводили ужас на всех: лазали на деревья, на крыши беседок, – все рушилось, к чему они прикасались... Я очень часто принимала участие в их играх, обыкновенно разыгрывая роль жертвы, которую хотят похитить разбойники (то есть братья), а другие мальчики представляли казаков, которые иногда, разгорячась, не шутя начинали драться с разбойниками. Тогда жертва принималась разнимать... Но ни чем нельзя было убедить их;

как петухи, отдохнув, они опять кидались друг на друга, и только изнеможение прекращало битву...

Быстро и незаметно пролетали два месяца; гувернантка возвращалась к нам еще требовательней, и опять духота и беспрестанная мука до нового лета. Но и редкие промежутки свободы и счастья скоро для нас кончились: на третий год сад закрыли, и с тех пор мы уже не гуляли и летом.

Зимой Кириле Кирилычу вздумалось танцевать, и детская наша превратилась в танцевальную залу; тетеньки пустились припрыгивать, сестры Катя и Соня тоже, гувернантка очень ловко вальсировала, с грацией образованной девицы. Меня, как меньшую, забраковали. В досаде я принялась одна танцевать в другой комнате; наконец научилась всему, чему учили сестер и тетенок, и даже успела передразнить всех, не исключая самого Кирила Кирилыча, который в танцах не имел соперников... Раз не достало кавалера, меня вытребовали и хотели учить, но я с гордостью выказала свое знание и так удачно выполнила роль отсутствующего кавалера, что меня несколько раз заставили повторить...

Маменька, по желанию Кирила Кирилыча, обещала сделать бал в рождество... Настало и рождество, гувернантка уехала домой к своей матери, мы вздохнули свободнее, тетеньки гадали всякий вечер, но Степаниде Петровне никак не выходил жених... Раз она выбежала спросить первого прохожего: «Как зовут?», чтоб узнать имя будущего своего мужа. Ей отвечали: «Матрена!» Она очень сердилась и аккуратно каждую ночь клала себе под подушку черного таракана, заключенного в аптечную коробочку, а на другое утро рассказывались бесконечные сны... Наконец день бала настал: дело было накануне Нового года; мы радовались, что увидим наряженных и танцы, но, к ужасу нашему, утром явилась гувернантка, вся в папильотках, и тотчас успела кого-то лишить чаю и конфект. Суeta была страшная: маменька сердилась и кричала, тетенька Александра Семеновна, как Фигаро, старалась всюду поспеть. Явились полотеры, и к нашему плачу и хохоту присоединилось визжание и шарканье... Нас одели – очень нехорошо: все было коротко и узко. Сестрам зачесали косы, что очень не нравилось гувернантке и тетушкам, и только настойчивое ходатайство Александры Семеновны перед маменькой спасло прическу сестер. Маменька разоделась впух. Гувернантка поссорилась с тетенькой Степанидой Петровной за меня: все желали, чтоб я их одевала: так ловко стягивала я корсеты и платья, к чему никто другой в доме, по испытанной слабости сил, не годился... Но гувернантка, по праву наставницы, решительно объявила, что не отпустит меня, пока сама не оденется... Начался ее туалет. Умывшись, она принялась возить по мокрому лицу своему красной суконкой, опускаемой по временам в пудру, с таким старанием, что я подумала, не хочет ли она с лицом своим сделать того же, что сделали полотеры с полом... Но, к удивлению моему, ее лицо все гуще и гуще покрывалось чем-то белым, наконец брови, ресницы, веснушки – все исчезло, и только из тучи инея блистали карие злые глаза, жадно впиваясь в зеркало, перед которым я держала свечу. Гувернантка чем-то провела над глазом – резко обозначилась бровь, лицо стало кривое... Но вскоре все пришло в порядок: ресницы перестали напоминать человека, только что пришедшего с морозу, губы, помазанные розовой помадой, походили на два красных земляных червяка, растертые щеки как-то странно алели. Началась уборка волос: жидкие пряди их, почувствовав прикосновение раскаленных щипцов, жалобно запищали; с них сняли папильотки, и каждый волосок, взбитый до невероятности, образовал особую буклю, так что гувернантка превратилась в рыжую болонку. Тогда из комода явилась на свет толстая коса, которую я держала, пока гувернантка мазала, расправляла и чесала ее; потом гувернантка привязала ее, искусно спутала с своей собственной тощей косой, прищиплила невероятным множеством шпилек, отчего голова ее на минуту стала похожа на забор, утыканный гвоздями от воров, и, наконец, устроив все как следует, улыбнулась, довольная своей роскошной куафюрой...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.